


ОСКАР
УАЙЛЬД
DE PROFUNDIS
ИЗ ГЛУБИН
ТЮРЕМНАЯ ИСПОВЕДЬ




МОСКВА
2016

ГЛАВНЫЕ АФОРИЗМЫ ЭТОЙ КНИГИ


*Истинный глупец — это тот,
кто не сумел познать самого себя.*




*Любовь питается воображением и поэтому
делает нас мудрее, чем мы сами подозреваем,
лучше, чем нам самим кажется,
благороднее, чем мы есть на самом деле.*



*Изъянов плоти не стоит стыдиться.
Это болезни, и лечить их — дело врачей.
Изъяны души — вот что нужно
считать постыдным.*



*Человек совершает роковые ошибки
не потому, что ведет себя безрассудно,
а как раз от излишней рассудочности.*



*Самый большой порок человека —
поверхность ума.*

ГЛАВНЫЕ АФОРИЗМЫ ЭТОЙ КНИГИ

*Страдание — это непрерывное,
никогда не кончающееся мгновение.*

*Только то, что прекрасно, может питать Любовь,
тогда как питать Ненависть может
все, что угодно.*

*Ненависть, если говорить о ней
с философской точки зрения,
есть вечное отрицание, а с точки зрения чувств —
это один из видов их атрофии,
поскольку ненависть умерщвляет все,
кроме самой себя.*

*Все, что есть великого в жизни,
великим и выглядит,
хотя именно по этой причине,
как ни странно, мы не можем его распознать.
Ну а мелочи жизни — это символы,
с помощью которых жизнь
слишком наглядным образом
преподает нам свои самые горькие уроки.*

Об этой книге

Оскар Уайльд (1854—1900) — ирландский поэт и драматург, громкий голос концепции эстетизма в Англии, поддерживающий принцип искусства ради искусства. Согласно убеждению Уайльда, жизнь подражает искусству, и он сам, находясь в постоянном поиске удовольствий, стремился подтвердить этот тезис. Во многих его сочинениях в основе замысла лежат обнажение тайного греха или неосмотрительный поступок, приводящий к бесчестью. В конце концов сам Уайльд стал объектом преследования в связи с гомосексуальностью. Его близкая дружба с лордом Альфредом Дугласом, с которым он познакомился в 1891 г., вызвала гнев отца Дугласа, маркиза Куинсберри. Маркиз обвинил Уайльда в содомии, а Уайльд, подстрекаемый Дугласом, оспорил это обвинение в суде. Когда обнаружились доказательства против самого Уайльда, дело, начатое им, рассыпалось, и от обвинений пришлось отказаться. Друзья убеждали литератора бежать во Францию, но он не смог поверить в то, что его мир отныне разрушен. Уайльда арестовали, он предстал перед судом.

Он так великолепно защищал себя, что суд не сумел назначить приговора. Но при повторных слушаниях Уайльд был признан виновным, и в мае 1895 г. приговорен к двум годам каторги. Близкие и семья отвернулись от него. Большую часть срока Уайльд отбывал в Редингской тюрьме, где сочинил длинное письмо к Дугласу, впервые опубликованное в 1905 г. в сокращенном виде под названием «*De profundis*» («Из глубин»). В самом откровенном и самом горьком своем произведении, Уайльд прославляет искусство, осуждая легкомысленное к нему отношение и погоню за удовольствиями.

ИЗ ПИСЬМА ОСКАРА УАЙЛЬДА К РОБЕРТУ РОССУ, ИЗДАТЕЛЮ

Я вовсе не стараюсь оправдать свое поведение, я просто объясняю его. Кроме того, во многих местах своей исповеди я пишу о той духовной эволюции, которая произошла со мной за годы тюремного заключения, и о неизбежных в силу этого изменениях в моем характере и моих взглядах на жизнь. Я хочу, чтобы ты и те остальные мои друзья, кто остается на моей стороне и сохраняет доброе ко мне отношение, могли бы лучше представить, с каким психологическим настроем и с каким лицом я собираюсь вновь предстать перед миром.

Разумеется, я полностью отдаю себе отчет в том, что, когда меня выпустят на свободу, я, в определенном смысле, попросту перейду из одной в другую тюрьму. Бывают моменты, когда весь мир представляется мне столь же тесным, как моя тюремная камера, и я с ужасом думаю о том, что ожидает меня впереди. Утешением мне служит лишь мысль, что Господь, создавая нашу вселенную, дал каждому из нас свой собственный мир и что именно в этом мире, который существует в каждом из нас, нам и следует жить.

Думаю, что ты будешь читать мою исповедь с большей степенью понимания и с меньшей болью, чем другие. И конечно, нет нужды напоминать тебе, насколько мимолетны мои мысли — как, впрочем, и у всех людей — и из какой эфемерной материи состоят наши чувства. В то же время я отчетливо вижу, в каком направлении — конечно, только

через Искусство — будет изменяться в дальнейшем моя душа.

Тюремная жизнь помогает увидеть людей и то, что движет ими, в истинном свете. Именно поэтому начинаешь ощущать себя каким-то окаменевшим. Люди, живущие во внешнем мире, пребывают в плену иллюзии, будто жизнь — это непрерывное движение. Они вращаются в водовороте событий и поэтому живут в нереальном мире. Лишь нам, живущим в неподвижности заточения, дано видеть и знать.

Поможет ли моя исповедь натурам со слишком узкими взглядами или, напротив, тем, у кого слишком пылкое воображение, я не знаю, но мне самому стало неизмеримо легче, когда я излил все наболевшее на бумаге. Наконец-то я «очистил свою душу от всего того, что тяготило ее». Ты и сам знаешь, что для художника нет ничего важнее, чем иметь возможность каким-то образом выразить себя. Лишь «самовыражаясь» мы и можем существовать. Я обязан начальнику тюрьмы очень многим, но более всего я благодарен ему за то, что он дал мне возможность писать тебе, не ограничивая меня объемом написанного. Почти два года во мне накапливался невыносимый груз горечи, и вот теперь я смог хотя бы отчасти облегчить свою ношу.

С другой стороны тюремной стены растут несколько жалких, черных от копоти деревьев, и сейчас на них распускаются почки, из которых начинают появляться ослепительно зеленые листья. Деревья эти с наступлением весны тоже получили возможность «самовыразиться».

1905 г.

«EPISTOLA: IN CARCERE ET VINCULIS»¹

*Тюрьма Ее Величества, Реддинг,
январь — март 1897 г.*

Дорогой Бози!

После долгого, но, увы, тщетного ожидания твоих писем я решил написать тебе первым — и ради тебя, и ради себя самого, ибо мне невыносима мысль, что за целых два года заточения я не получил от тебя ни единой строчки и не имел никаких новостей о тебе, за исключением тех, что причинили мне боль.

Наша роковая и столь злосчастная дружба завершилась для меня катастрофой и публичным позором. Тем не менее память о нашей прежней привязанности все так же во мне жива, и мне было бы грустно думать, что может наступить такое время, когда ненависть, горечь и презрение займут в моем сердце место, принадлежавшее в прошлом любви. Думаю, ты и сам в душе понимаешь, что лучше написать мне сюда, в эту обитель тюремного одиночества, чем без данного мной разрешения публиковать мои письма или, хотя я не просил тебя об этом, посвящать мне стихи, тогда

¹ «Послание: в темнице и оковах». Такое название дал своей исповеди сам Уайльд; Росс решил воспроизвести его в подзаголовке (лат.).

как в случае, если ты мне напишешь в тюрьму, мир ничего не узнает о том, какие слова, исполненные скорби или страсти, раскаяния или равнодушия, ты выберешь для своего ответа, в каких выражениях воззовешь к моим чувствам.

У меня нет сомнений, что в этом моем послании, в котором я собираюсь говорить о твоей и о своей жизни, о нашем прошлом и будущем, о приятных вещах, ныне воспринимаемых с горечью, и о горьких вещах, вспоминаемых теперь с удовольствием, ты найдешь много такого, что может больно ранить твое самолюбие.

Если это и в самом деле окажется так, то ты должен перечитывать мое письмо до тех пор, пока оно не убьет в тебе это твое пресловутое самолюбие.

Если же ты найдешь в нем нечто такое, в чем, на твой взгляд, тебя обвиняют несправедливо, то тебе следует вспомнить простую истину: человек должен радоваться, что есть еще такие грехи, в которых он не повинен. Ну а если хоть одна фраза в моем письме вызовет у тебя слезы — что ж, плачь, как плачем все мы в нашей тюрьме, где днем, точно так же как ночью, нам только и остается, что проливать слезы. Только так ты можешь спасти себя.

Но если ты снова отправишься к своей матери жаловаться на меня (как это было в том случае, когда я с презрением отозвался о тебе в своем письме к Робби), с тем чтобы она льстивыми утешениями вернула тебе прежнее самомнение и самодовольство, ты окончательно погубишь себя. Стоит тебе найти хоть одно ложное оправдание для себя, как тотчас же ты найдешь еще сотню, и в результате останешься точно таким, каким был всегда.

Неужели ты по-прежнему утверждаешь, как это следует из твоего ответа на письмо Робби, будто я «приписываю тебе недостойные побуждения»? Полно тебе: никаких побуждений у тебя никогда и не было. Ненасытная жажда удовольствий — вот весь смысл твоей жизни. А побуждения — это ведь духовные устремления. Должно быть, ты также считаешь, что был «слишком молод», когда началась наша дружба? Но твой недостаток заключался не в том, что ты знал слишком мало о жизни, а скорее в том, что ты знал о ней слишком много. К тому времени ты уже оставил далеко позади утреннюю зарю ранней юности в ее нежном цветении, с ее ясным и чистым светом, ее невинностью и радостным предвкушением того, что грядет впереди. Ты стремительно промчался мимо романтики прямо в реальность.

Сточная канава и ее обитатели — вот что привлекало тебя. Это и было причиной тех неприятностей, попав в которые ты искал моей помощи, ну а я, побуждаемый жалостью к тебе и добротой своей, поспешил тебя выручить, поступив, по мудрому мнению света, очень немудро.

Ты должен прочитать это письмо до конца, пусть даже каждое слово в нем и покажется тебе обжигающим пламенем или острым хирургическим скальпелем, от которых дымятся или кровоточит нежная плоть. Помни, что тот, кого люди считают глупцом, необязательно выглядит таковым в глазах богов. Даже если кто-то ничего не ведает об Искусстве во всем разнообразии его форм или о причудливых поворотах Мысли в ее многовековом развитии; если он никогда не слышал о величавости латинского стиха или о сладкозвучности эллинской речи; если он даже не подозревает о древней тосканской скульптуре или о елизаветинской песенной поэзии,— этот

человек тем не менее может быть преисполнен величайшей мудрости.

•
*Истинный же глупец,
над кем потешаются боги, —
это тот, кто не сумел
познать самого себя.*
•

Я и сам был таковым, причем слишком долго. Ты же остался таковым до сих пор. Так не будь же больше глупцом. И не нужно ничего бояться.

•
*Самый большой порок человека —
поверхностность ума.*
•

Во всем, что происходит в жизни человека, есть свой глубокий смысл. Учти также еще одно: как бы мучительно тебе ни было это читать, еще мучительнее мне это излагать на бумаге.

Незримые Силы всегда благоволили к тебе. Они давали тебе возможность наблюдать за причудливыми и трагическими ликами Жизни, словно за переливами цвета в многогранном кристалле. Голову Медузы, обращающую в камень любого, кто бросит на нее взгляд, было тебе дозволено видеть лишь отраженной в зеркале. Ты можешь по-прежнему разгуливать на свободе среди цветов. У меня же насильно отняли этот прекрасный мир — мир, полный движения и ярких красок.

Начну с признания в том, что в случившемся более всего виноват я сам, и сознавать это мне мучительно больно. Да, да, в том, что я сижу сейчас в этой темной камере, облаченный в тюремную одежду, обесчещенный и раздавленный, я виню одного лишь себя. Тревожными, лихорадочными, тоскливыми ночами и мучительно долгими, монотонно однообразными днями меня постоянно гложет мысль, что во всем виноват один только я. Я виню себя в том, что позволил дружбе с тобой занять столь огромное место в своей жизни — дружбе, зародившейся, увы, не на интеллектуальной основе, дружбе, основанной не на стремлении творить и созерцать прекрасное.

С самого начала нас разделяла слишком глубокая пропасть. В школе ты учился спустя рукава, в университете — и того хуже. Тебе трудно было понять, что художнику — в особенности такому художнику, как я, чей уровень творчества зависит в первую очередь от духовного настроения, — необходимо для совершенствования своего искусства полное духовное единение с окружающими, чисто интеллектуальная атмосфера, покой, тишина, уединение. Ты восхищался творениями, выходящими из-под моего пера, ты получал огромное удовольствие от блистательного успеха моих пьес на премьерах и не менее блистательных банкетов после них, ты гордился — и это вполне естественно — близкой дружбой с таким прославленным писателем, как я, но ты совершенно не понимал, какие условия нужны для того, чтобы создавать произведения искусства.

Напоминаю тебе, что за все то время, пока мы с тобой были вместе, я не написал ни единой строчки, — и это вовсе не полемическое преувеличение, это чистая правда. И в Торки, и в Гринге, и в Лондоне, и во Флоренции —

словом, в любом месте, где ты был рядом со мной, я вел абсолютно бесплодную и лишённую творчества жизнь. А ты, к сожалению, почти постоянно был рядом.

<...>

Хочется надеяться, что ты это и сам сейчас осознаешь. Ты должен был к этому времени понять, насколько пагубным для твоего духовного развития и для моего творчества как художника являлось и твое неумение проводить время в одиночестве, и присущее тебе стремление постоянно быть в центре внимания, и твое обыкновение распоряжаться чужим временем, как своим, и отсутствие в тебе способности подвергать себя длительному умственному напряжению, и то несчастливое стечение обстоятельств (а мне хотелось бы думать, что все объясняется именно этим), которое помешало тебе, когда ты сталкивался с чисто интеллектуальными проблемами, усвоить «оксфордскую манеру», заключающуюся в искусстве изящно играть идеями, тогда как ты только и умел, что силой навязывать свои мнения.

А это, в сочетании с тем, что все твои устремления и интересы всегда были направлены на прожигание жизни, а не на Высокое Искусство, и привело к упомянутым прискорбным последствиям.

Мне становится стыдно и горько, когда я сравниваю нашу с тобой дружбу и мою дружбу с другими молодыми (моложе, чем ты) людьми, — такими, например, как Джон Грей или Пьер Луи. Только общаясь с ними, я жил настоящей жизнью, жизнью творческой и возвышенной.

Что касается катастрофических последствий нашей дружбы с тобой, то об этом говорить я сейчас не буду.

Мне хотелось бы просто поразмышлять о характере нашей дружбы — с самого ее начала и до конца. В интеллектуальном отношении она, несомненно, была для меня губительной, хотя, не спорю, в тебе проявлялись зачатки художественной натуры, но не более, чем зачатки.

Наверно, мы повстречались с тобой слишком рано, а может быть, слишком поздно — мне и самому сейчас это трудно понять. Но я чувствовал себя самым собой лишь тогда, когда ты куда-нибудь уезжал. Как, например, в тот раз, в начале декабря упомянутого мною года, когда мне удалось уговорить твою мать отослать тебя на время из Англии.

Сразу же после твоего отъезда я собрал по кусочкам разорванное в клочья кружево моего воображения, снова взял свою жизнь в собственные руки и не только завершил недописанные три действия «Идеального мужа», но и успел сочинить, почти доведя до финала, еще две пьесы, причем совершенно иного рода — «Флорентинскую трагедию» и «La Sainte Courtisane».

И вдруг возвращаешься ты, непрощеный и неожиданный, нарушая безмятежное состояние моего духа. Эти два произведения, буквально прерванные на полуслове, так и остались незавершенными: я не был в состоянии снова взяться за них, не был в силах вернуть настроение, с которым их создавал. Теперь, после того как ты и сам опубликовал свой сборник стихов, ты лучше сможешь понять, что я имею в виду.

Впрочем, вне зависимости от того, поймешь ты это или нет, факт остается фактом — пока ты был рядом со мной, ты оказывал абсолютно губительное влияние на мое

творчество, и это ужасное обстоятельство всегда таилось в самом сердце нашей дружбы. Мне стыдно, что я позволял тебе столь беспардонно становиться между мною и моим творчеством, и в этом я всецело виню себя. Ты ведь даже не подозревал об этом, не мог понять этого, не сознавал своего пагубного влияния на меня. Да и откуда было тебе понять?!

Ты жил одними своими пиршествами и прихотями. Тобой владела всепоглощающая потребность развлекаться, получать наслаждение от жизни, и развлечения твои были как обычного, так и не совсем обычного рода. Они полностью соответствовали твоей натуре, и тебе в определенные моменты казалось, что ты без них обойтись не можешь. Мне следовало запретить тебе бывать без приглашения в моем доме или в снятых мной апартаментах, и я виню только себя за то, что проявил слабость, не сделав этого. Да, иначе как слабостью это не назовешь.

Полчаса занятий Искусством всегда значили для меня больше, чем год, проведенный с тобой. В сущности, ничто в моей жизни на всем ее протяжении не играло такую огромную роль, как Искусство. Для художника проявление такой слабости равносильно совершению преступления, особенно в том случае, когда из-за этого полностью парализуется его творческое воображение.

Я виню себя также за то, что позволил тебе довести меня до полного и скандального разорения. Помню, как однажды утром, в начале октября 92 года, мы с твоей матерью, прогуливаясь в Брэкнелле по уже начавшему желтеть лесу, присели на скамейку передохнуть. (В то время я знал тебя еще очень плохо. До этого я останавливался у тебя в Оксфорде, куда приезжал на три дня, с субботы

по понедельник, а ты после этого десять дней гостил у меня в Кромере, где развлекался игрой в гольф.)

Разговор наш зашел о тебе, и твоя мать стала рассказывать мне о твоём характере. Она поведала мне о главных твоих недостатках, заключающихся в том, что ты, во-первых, не в меру тщеславен, а во-вторых, как она выразилась, «не умеешь обращаться с деньгами». Хорошо помню, что это тогда показалось мне даже забавным. Я и представить себе не мог, что первый из твоих недостатков приведет меня в тюрьму, а второй — к банкротству.

Мне казалось в то время, что тщеславие даже украшает молодого человека, как изящный цветок в петлице; ну а что касается расточительности (а твоя мать, я был уверен, не имела в виду ничего более, чем этот простительный недостаток), то благоразумием в отношении денег и умением быть бережливым ни я, ни кто-либо другой в моей семье никогда не отличались. Однако не минуло и месяца с начала нашей дружбы, как мне полностью открылось, о каком именно «неумении обращаться с деньгами» говорила твоя мать.

Свойственные тебе замашки прожигателя жизни и твои непрестанные требования дать тебе денег — ибо ты считал, что все твои развлечения, независимо от того, участвую ли я в них или нет, должен оплачивать я, — привели меня через недолгое время к серьезным денежным затруднениям. Это было тем более досадно, что твое расточительство, ставившееся просто-таки безудержным по мере того, как ты все настойчивее предъявлял претензии на мою жизнь, носило монотонно однообразный характер — во всяком случае, так мне казалось.